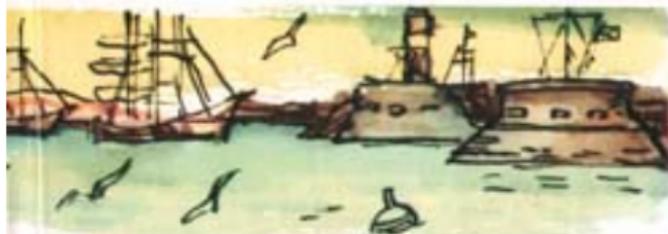


К.М. СТАНЮКОВИЧ



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

К.М.Станюкович. Избранные произведения. В 2-х т. Том 1 //Издательство
«Художественная литература», Москва, 1988
FB2: Ustas, 2006-07-19, version 1.0
UUID: B3434E94-2968-4AAC-98E5-3FD48DA47556
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Матросский линч
(«Морские рассказы» #0)

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0009
III.....	.0016
IV.....	.0029
V.....	.0048
VI.....	.0052
VII.....	.0057

**Константин Михайлович
Станюкович
Матросский линч**

Клипер медленно подвигался, держась в крутой бейдевинд, под зарифленными парусами. Покачивало-таки порядочно. Шел дождь. Горизонт вокруг затянулся мглой, и по нависшему мутному небу носились черные клочковатые облачки. Ветер дул порывами: то затихнет, то вновь заревет, проносясь за унынным воем в намокших снастях.

Уж целую неделю не выглядывало солнышко, и старший штурман волновался, что нельзя сделать обсервации и точно определить. По счислению, мы считали себя в ста милях от Гонконга и рассчитывали подойти к нему к полудню следующего дня.

Кутаясь в просмоленные парусинные пальтишки, матросы не отходят от своих снастей, перекидываясь изредка отрывистыми замечаниями о погоде и встряхиваясь, как утки, от воды. Вахта выдалась беспокойная. Приходилось быть постоянно начеку для встречи часто налетающих шквалов.

На мостике, одетые в дождевики, с короткополыми зюйдвестками на головах, стоят

капитан и вахтенный офицер. Капитан совершенно спокоен; молодой офицер несколько возбужден. Первый раз в жизни ему доводится править такую бурную вахту, распоряжаясь самостоятельно. Ему и приятно, и жутко, и в то же время досадно, что капитан часто выходит наверх, словно не доверяя осмотрительности молодого мичмана, считающего себя уже опытным моряком после перехода Атлантического и Индийского океанов.

Капитан, переживавший в молодости точно такие же чувства, отлично понимал состояние юноши-офицера и не вмешивается в его распоряжения, хотя зорко наблюдает за всем. Особенно часто и пристально всматривается он в горизонт.

Вон там, на склоне неба, что-то чернеет, растет в грозную тучу и, отделившись от горизонта, серым, быстро движущимся широким столбом приближается к клиперу с наветренной стороны.

Это несется шквал с дождем.

Громким, чересчур громким, слегка вибрирующим голосом офицер несколько рано командует убрать паруса и, стараясь подавить

волнение, невольно охватившее его при виде грозного шквала, принимает небрежную посадку лихого, ничего не боящегося моряка.

Паруса взяты «на гитовы» (убраны), и маленькое судно с оголенными мачтами готово к встрече врага, предоставляя его ярости меньшую площадь сопротивления.

Срывая и крутя перед собой седые гребешки волн, шквал бешено нападает на клипер, охватывая его со всех сторон проливным дождем и мглой. Яростно шумит он в рангоуте, гудит во вздувшихся снастях, кладет судно на бок и несколько секунд мчит его с захватывающей дух быстротой, так что кругом видна только одна кипящая пена.

Шквал пронесся, и мгла рассеялась. Клипер приподнялся и пошел тише. Некоторые из молодых матросов, преувеличившие в страхе опасность, набожно перекрестились с облегченным вздохом.

Снова раздается звучный голос вахтенного офицера. Снова натягивают паруса, и клипер по-прежнему покачивается с боку на бок на неправильном волнении, легонько поскрипывая своими членами.

— Я поторопился немного убрать паруса, Павел Николаевич? — обращается к капитану мичман, несколько смущенный. Ему кажется, что капитан должен был заметить его трусость перед шквалом.

— Отлично распорядились... молодец!.. Всегда лучше убрать раньше, чем позднее! — проговорил с обычной приветливостью капитан и, спускаясь вниз, прибавил:

— Если засвежеет — дайте знать... Впрочем, навряд ли засвежеет. Барометр подымается.

В то самое время, как наверху посвистывал ветер и усталые, измокшие под дождем вахтенные матросы мечтали о смене, подвахтенные отдыхали внизу. Время было послеобеденное, и матросы безмятежно спали. Все пространство кубрика и нижней палубы, все укромные местечки около мачт и трубы были заняты лежащими врасстяжку людьми. Несмотря на парусинные виндзейли, пропущенные сверху в открытые люки для притока свежего воздуха, в палубе стоял тяжелый запах. Пахло жильем, сыростью и смолой. Громкий храп шести десятков матросов, только что плотно пообедавших, раздавался на все лады из конца в конец.

Не все, впрочем, спали. Некоторые из матросов, «похозяйственнее», воспользовавшись досугом, справляли свои делишки: кто тачал сапоги, кто занимался шитьем. Несколько человек сушили у «камбуза» (судовая кухня) смокшие буршлаты, слушая, как вестовые, перемывавшие тарелки, рассказывали офицерскому «коку» (повару) о том, что господа «нон-

че очень одобряли» обед.

— Только один Мурашкин фыркал... Он уж у нас завсегда; что ни подай, все: «фуй» да «фуй»! Одно слово, «фуйка»! — насмешливо заметил один из вестовых.

— Фуйка и есть! — повторили вестовые и засмеялись, видимо довольные прозвищем, которым они окрестили младшего штурмана за его постоянное привередничанье, вызываемое не столько недовольством, сколько желанием показать, что он обладает тонким гастрономическим вкусом.

— На берегу, поди, трескал подошву под соусом из водицы и облизывался, а теперь фордыбачит, — сердито проговорил повар. — И хучь бы толк в кушанье понимал, а то так только... Так прочие были довольны?

— Очинно даже довольны... Старший офицер два раза жаркова накладывал... Скусное, говорит... А дохтур пирожки хвалил... С десятков их слопал Карла Карлыч!

Уютно примостившись у трубы и упираясь босыми ногами в плинтус машинного люка, пожилой рябоватый матрос с серьгой в ухе, с сосредоточенным, строгим видом, облаживал

новый парусинный башмак, напевая себе под нос приятным голосом какой-то однообразный, заунывный мотив без слов. По временам он оставлял работу и, оглядывая со всех сторон здоровенный башмак, любовался им с чувством удовлетворения, выразившимся тихой улыбкой в чертах его загорелого, энергического лица. Затем лицо его снова принимало обычное выражение строгого спокойствия человека, видавшего виды, и он принимался работать и подпевать, ухищряясь искусно строчить, несмотря на качку. Это — Василий Федосеич Федосеев, исправный баковый матрос, пошедший третий раз в «дальнюю», влиятельный среди команды. В знак уважения его все зовут Федосеичем, хоть он и не унтер.

Рядом с ним, лежа навзничь с раскинутыми по бокам руками, сладко храпел молодой черноволосый плотный матрос Аксенов, из рекрут, первый раз попавший в море. Он был из одной деревни с Федосеичем и в качестве земляка пользовался покровительством бывшего односельца, не забывшего еще деревни и любившего поговорить о ней с

молодым матросиком.

Громко всхрапнув, Аксенов вдруг проснулся. Его румяное, здоровое курносое лицо, блестящее масляным налетом, улыбалось еще блаженной сонной улыбкой, которая бывает у людей после приятных сновидений. Он потянулся, сладко позевывая и щуря свои большие тюленьи глаза, и, повернув голову, стал смотреть, как Федосеич работает.

— А важные башмаки будут, — промолвил наконец он.

— Чего не спишь? Спи себе, знай, Ефимка! Еще не свистали вставать. Ночью на вахте не разоспишься... Лучше загодя отоспись! — ласковым тоном проговорил Федосеич, не отрываясь от работы.

— Будет... важно выпался... Однако покачивает, — заметил он, присаживаясь.

— Есть-таки маленько... Это кто тебя так, Ефимка? — вдруг спросил Федосеич, увидав под глазом у своего земляка свежий подтек.

— Известно, кто... Все он, черт лупоглазый... боцман!

— Однако здорово он тебя, братец ты мой, звезданул! Ишь ты... Чуть-чуть не потрафь, в

самый бы глаз! — продолжал Федосеич, внимательно оглядывая синяк. — За что он тебя?

— Вовсе зря... право, зря! — оживленно заговорил Ефимка, припоминая недавнюю обиду. — Небось знаешь, как он с нашим братом... вовсе обижает... Даром, что приказано народ не бить и господа не дерутся, а он...

— Ты не мели пустова, Ефимка! — строго остановил его Федосеич... — Иным разом, если за дело, нельзя и не съездить... Такая уж его должность... Ты толком-то сказывай: за что?

— Как есть задарма, Федосеич... Просто ни за что. Парус даве, значит, убирали... Ему и покажись, что долго... Он и пошел чесать морды... А я вовсе и не касался паруса-то... Так по пути, значит, меня свистнул... С сердцов...

— Не врешь, Ефимка?

— Чего врать-то... Хучь у ребят спроси... Все видели.

Федосеич помолчал, потом тихо покачал головой и раздумчиво промолвил:

— Куражится Нилыч... Не слушает, что ему люди говорят...

— Совсем озверел нонче... Вечор тоже вот

меня огрел по спине, а Левонтьева в морду съездил! — жаловался Ефимка.

Старший офицер, проходивший из подшкиперской каюты в кают-компанию, показался в это время из-за трубы. Он слышал жалобы молодого матроса и, подойдя к нему, спросил, показывая пальцем на глаз:

— Это что у тебя, Аксенов?

Матрос мигом вскочил и застенчиво отвечал:

— Зашибся, ваше благородие!

— Гм... Зашибся?.. — промолвил с улыбкой старший офицер и, не спрашивая более, пошел прочь.

— Уж этот Щукин! — прошептал он, входя в кают-компанию.

— Это ты правильно, Ефимка! Ай да молодец! Из тебя настоящий матрос выйдет! — одобрял Федосеич. — Что дрязгу-то заводить да кляузничать... Это последнее дело... Мы лучше Нилыча сами проучим, по-матросски! — значительно проговорил Федосеич, понижая голос.

— Боцмана?! Да как его проучишь... боцмана-то? — изумился молодой матрос.

— Уж это не твоя забота, как их учат!.. А ну-кась, примерь, Ефимка! — продолжал Федосеич, передавая Аксенову башмак.

Ефимка обулся, прошел несколько шагов и, возвращая башмак, весело проговорил:

— В самый раз, Федосеич!.. И ноге в нем вольно...

— А главное, как сшито... Ты это погляди, Ефимка!

Ефимка поглядел и нашел, что важно сшито.

— Износу им не будет... Строчка двойная, и на подметке хороший товар. Ужо в Гонконт придем, пустят на берег — оденешь... Да смотри, Ефимка, насчет того, что мы о боцмане говорили, никому не болтай! — внушительно прибавил Федосеич, снова принимаясь за работу.

В тот же вечер Федосеич о чем-то тайно совещался с несколькими старыми матросами.

Гроза молодых матросов, боцман Щукин, коренастый, приземистый, пучеглазый человек лет пятидесяти, с кривыми ногами, обветрившимся красным лицом цвета грязной моркови и с осипшим от ругани и пьянства голосом, только что прикончил свои неистощимые вариации на русские темы, которыми он услаждал слушателей на следующий день с раннего утра по случаю уборки клипера. За ночь стихло, кругом прояснилось, уборка кончена, и Щукин, заложив за спину свои просмоленные руки, с довольным видом осматривает якорные стопора, предвкушая заранее близость единственного своего развлечения: съехавши на берег, нализаться до бесчувствия.

На эти развлечения старого боцмана смотрят сквозь пальцы ввиду того, что Щукин — знающий свое дело и лихой боцман. И если на берегу он обнаруживает слабости, недостойные его звания, зато на судне держит себя вполне на высоте положения: всегда трезв; боясь соблазна, не пьет даже казенной чарки;

исполнителен и усерден, солиден и строг; на службе — собака, ругается с артистичностью заправского боцмана старых времен и тщательно соблюдает свой боцманский престиж.

Увы! Весь этот престиж пропадад, как только Щукин ступал на берег.

Отправлялся он всегда нарядный. Для поддержания чести русского имени он обыкновенно одевал собственную щегольскую рубашку с голландским вышитым передом, поверх которой красовалась цепь с серебряной боцманской дудкой, полученной им в подарок от старшего офицера, — обувал новые сапоги со скрипом, повязывал свою короткую, жилистую, побуревшую от загара шею черной шелковой косынкой, пропуская концы ее в серебряное кольцо; ухарски надевал на затылок матросскую фуражку без картуза, с черной лентой, по которой золотыми буквами было вытиснено название клипера, и брал в руки, больше, я думаю, из национальной гордости, чем из необходимости, носовой платок, который обратно с берега никогда не привозил.

В таком великолепии, тщательно выбритый, с подстриженными короткими щетини-

стыми усами, посматривая вокруг с видом именинника и не выпуская из рук носового платка, Щукин садился на баркас и, ступив на берег, шел немедленно в ближайший кабак.

С берега Щукин обыкновенно возвращался в истерзанном виде, не вязавши лыка, тихий, молчаливый и покорный. Случалось, что его привозили в виде тела, со шлюпки поднимали наверх на веревке и уносили в его каюту.

Наутро он снова напускал на себя важность, был еще суровее на вид и, словно в отместку за вчерашнее свое унижение, ругался с большим усердием, чаще ошпаривал льняком подвернувшегося под руку какого-нибудь молодого матроса и в этот день, как говорили матросы, был особенно «тяжел на руку».

Дальше ближайшего от пристани кабака Щукин (по крайней мере, в трезвом виде) не был ни в одном из иностранных портов, посещенных клипером, что, однако, не мешало ему отзываться о них со снисходительным презрением.

— Ничего нет хорошего... Так, слава одна — заграница! — рассказывал он безразлично обо всех чужих землях... — Против наших

городов ничего не стоят... И народ не тот... То ли дело наша Россия... Недаром сказано: наша матушка Россия всему свету голова!

Он убежден был в преимуществе России так же непоколебимо, как и в том, что без линька и без боя матроса не выучить и не «привести в чувство». Эта философия была так твердо усвоена Щукиным, основательно прошедшим в течение двадцатилетней службы прежнюю школу линьков и битья, что, когда в начале нашего плавания было приказано боцманам и унтер-офицерам бросить линьки и не драться, — Щукин не верил своим ушам.

— Это как же теперче... Не смей и проучить человека?.. Какой же после этого я буду боцман, если не могу дать по уху! — ворчал он, беседуя с унтер-офицерами на баке. — Чудеса пошли... Прежде этого на флоте не было!

В конце концов он порешил, что все эти новые порядки — одно баловство; нельзя матросу жить без страха, и, несмотря на приказание, нередко-таки учивал людей по-своему, так что молодые матросы боялись боцмана, как огня. Уже несколько раз Василий Иванович

грозил Щукину, что его разжалуют, если он будет свирепствовать. Щукин, молча накупившись, выслушивал, крепился день-другой и снова дрался, хотя и не с прежнею откровенностью, а так, чтоб не заметили офицеры.

— Ой! Нилыч, не куражься... Не обижай людей зря! — нередко говорили ему в начале плавания старые матросы, пьянствуя вместе с боцманом на берегу. — Боцман ты — надо правду говорить — хороший, но только без толку мордобойничаешь... Ты это оставь, Нилыч...

— А я что же, по-вашему... кляузы заводить должен, что ли?.. За всякую малость жаловаться?.. Ни в жисть на это не пойду... я, братцы, коренной матрос!.. В старину небось боцмана кляузами не занимались... На своего брата не жаловались... Сами учивали... Если драться с рассудком — никакой вреды нет... Это верно я вам говорю.

— То-то ты иной раз без рассудка дерешься, Нилыч...

Щукин обещал драться с рассудком и скоро нализывался вместе, раскисая от вина, со своими советниками.

Возмущенный новыми порядками, введенными на клипере, старый боцман слегка фрондировал, посмеиваясь над ними, и любил вспоминать, как прежде «учили нашего брата» и какой от того был во флоте порядок. Увлекаясь этими воспоминаниями, он не без красноречия рассказывал иногда в интимном кружке историю своих двух вышибленных передних зубов, как бы доказывая собственной особой справедливость взгляда, что если «бить с рассудком, то вреда не будет».

Достоин удивления было то, что о виновнике крушения своих зубов Щукин вспоминал с самою любовною и почтительною восторженностью, с какой обыкновенно вспоминают о людях, не вышибающих по меньшей мере зубов. Но в глазах Щукина этот самый командир Василий Кузьмич Остолопов («царство ему небесное!») был именно каким-то недостижимым идеалом и олицетворением всех совершенств и качеств, необходимых, по мнению боцмана, настоящему начальнику. Рассказывая о нем, Щукин даже приходил в пафос, создавая из покойника какое-то мифологическое божество матросского Олимпа.

— Одно слово... лев был! — восторгался Щукин, теряясь в эпитетах. — Выйдет это он, бывало, наверх, так всякий чувствует... Взглянет — орел! Или, например, паруса крепить... У него, братец ты мой, положение было, чтобы в три минуты, а ежели на один секунд позже на каком-нибудь марсе, сейчас всех марсовых вниз и на бак... Как всыпят всем по стулиньков, небось в другой раз не опоздаешь!.. И работали же у нас на «Фершанте»! [1] Первым в эскадре корабль был... Работа горела... Не матросы, а черти были... лётком летали... У него, чтобы матрос ходил с прохладцей — нет, брат!.. Он все наскрозь видел... Стоит это на юте, заложив за спину руки, да как вдруг заметит неисправку — сам несется на бак грозой и давай чесать... Раз, два, три!.. Одному в ухо, другому, третьему, да как отчешет десятка два, будешь, голубчик, помнить. Шалишь!.. И рука ж была у него!.. Ка-а-а-к саданет — в глазах пыль с огнем — и морду вздует... Знали его руку-то!.. — с восторгом говорил Щукин, показывая наглядно, какая у Остолопова была рука. — Зато насчет службы, насчет чистоты и был порядок. Матрос на корабле в

струне ходил, остерегался... Офицеров боялись, боцманов боялись, не то что нонче... Ты ему слово, а он тебе два. Книжек этих для грамоты небось не раздавали, матрос жил в страхе, не умничал... почитал как следует начальство... А спустили тебя на берег, гуляй, значит, вовсю, — взыску не было. «Никак, говорят, без этого невозможно российскому матросу, чтобы он да за свои труды на берегу не нахлестался вздрезбег!» И стоит, бывало, наш Василий Кузьмич да приветно усмехается, глядячи, как пьяную матрозню, ровно баранов, с баркаса поднимают на гордешке... Небось он в том сраму не видел!.. Не то, что как нонче прочие другие командиры, — угрюмо прибавлял старый боцман, пуская шпильку по адресу нашего капитана.

— Он с большим умом был, Остолопов-то наш!.. — восторженно продолжал Щукин... — Понимал, что матросу лестно покуражиться на сухом пути... Ну, и сам не брезговал напитками... Любил!..

— Многие в старину любили!.. — вставлял, смеясь, фельдшер.

— То-то любили!.. Но только с Василием

Кузьмичом никому не сравняться... Он, я вам скажу, и насчет вина черт был! Графина три, а то и четыре за день выдует этой самой марсалы, и хоть бы в одном глазу! Выйдет к вечеру наверх — так только маленечко с лица будто побагровеет, да ругается позатейней... Он на это выдумщик был!.. Поэтому мы, бывало, и примечали, что орел-то наш намарсалился! А стоит на ногах как вкопанный... глаз чистый... Что уж и говорить! Во всех статьях — орел!..

— А за что он вам, Матвей Нилыч, нанес повреждение действием? — галантно спрашивал, бывало, фельдшер, желая доставить боцману удовольствие: рассказать вновь давно известную всем слушателям историю о двух вышибленных зубах.

При этом вопросе Щукин неизменно оживлялся, и на лице его появлялась заранее улыбка, словно он готовился рассказывать о самом приятном воспоминании в своей жизни.

— За что? По-настоящему мне бы следовало прямо всю скулу своротить на сторону да спину вздуть, а не то что два зуба!.. Вот что мне следовало, если говорить по совести...

Свезли, видишь ли, братец ты мой, мы утром, как теперь помню, командира на Петровскую пристань... Он, как водится, прыг с вельбота и на ходу проговорил, в котором, значит, часу за ним приезжать... Мне и послышся, что к шести... я у него вельботным старшиной был... Ладно. Без четверти в шесть пристаем мы к пристани, глядим, а он ходит по ей взад и вперед да плечиками подергивает: в сердцах, значит, был... Тут я и вспомнил, что как будто он велел не к шести, а к пяти часам быть... Как вошло это в ум, так, братец ты мой, сердце во мне и захолонуло... по спине мураши забегали... Целый ежели час я командира заставил дожидаться... Василия Кузьмича... льва-то нашего!.. Можешь ты это как следует понять, а? Тогда ведь не по-нонешнему: «Виноват — запамятовал!» Тогда, любезный мой, порядок любили форменный... За один секунд, бывало, шкуру спускали, а не то что как ежели целый час!!

На этом месте рассказа Щукин всегда делал ораторскую паузу, как бы для того, чтобы слушатели имели возможность надлежащим образом проникнуться сознанием тяжести

его преступления и могли затем еще лучше оценить великодушные покойного капитана.

— Хорошо... Подошел это он к вельботу, поманул меня перстом и отошел в сторону... Вижу: грозен... Я, значит, ни жив ни мертв, к нему. Подошел и смотрю ему прямо в глаза. Он любил, чтобы матрос ему завсегда с чистым сердцем в глаза глядел. А он воззрился на меня, ничего не говорит, да вдруг: бац! бац! Два раза всего-то кулаком в зубы, да так, что быдто цокнуло что-то. А надо тебе сказать, на указательном персте Василий Кузьмич завсегда носил брильянтовый супир. От государя императора пожалован. Так самым этим, значит, супирчиком он и цокнул. В глазах — пыль, но только я, как следовало, стою, эдак грудью вперед, и весело ему смотрю в зрачки. Жду еще бою! Однако он более не захотел. «Пошел, говорит, собачий сын, на шлюпку!» — и сам следом сел. «Отваливай!» Отвалили. Я изо всей мочи наваливаюсь — гребцы у нас на подбор! — а сам, однако, думаю: «Это, мол, только одна закуска была, какова-то настоящая расправка на корабле будет. Не меньше как два ста линьков прикажет для памяти

всыпать!» Вельбот ходом идет, скоро и корабль наш. Он, насупившись эдак, поглядывает на меня, увидал, значит, как изо рта у меня кровь капелью каплет... Хорошо. Пристали к кораблю. Встал и ко мне обратил голову: «Что, спрашивает, целы ли у тебя, у подлеца, зубы?» — «Не должно быть целы, ваше ваше-скобродие!» Это я ему, потому чувствую, что во рту словно каша. Усмехнулся, — и что бы ты думал?! Вместо того чтобы меня, подлеца, приказать отодрать как Сидорову козу, он, голубчик-то мой, выходя, говорит: «Пей за меня чарку водки, да вперед, говорит, прочищай ухо!» — «Покорно благодарю, ваше вашескобродие!» — гаркнул я в ответ, да тут же и зубы сплюнул в радости. А на другой день призвал меня к себе. «Молодцом, говорит, бой выдержишь, бабства, говорит, в тебе нет, как есть бравый матрос. За то, говорит, я тебя унтерцером жалую. Смотри, не осрами меня!..» И как это он похвалил за мое усердие, так я даже вовсе обалдел. Кажется, прикажи он мне за борт броситься, так я со всем бы удовольствием!.. Вот каков он был! Умел и строгостью и лаской, коли ты стоишь. Старинного

веку командир был. Господь и смерть ему легкую сподобил... ударом помер. Играл, сказывали, в карты, маленько нагрузившись, да вдруг под стол... Бросились подымать, а ба-тюшка-то Василий Кузьмич уж не дышит... Царство ему небесное, голубчику! — прибавлял умиленный Щукин, осеняя себя крестным знамением.

IV

Утренние работы окончены. Одиннадцатый час на исходе — скоро обедать. В ожидании приятного свиста дудок, призывающих к водке, матросы высыпали на палубу и толпятся на баке, разбившись по кучкам. Только что убрали паруса, и клипер довольно ходко шел под парами навстречу прямо дующему в лоб ветру, мешавшему идти под парусами. Волнение стихало, из-за туч выглядывало по временам солнце, и штурман был доволен: обсервация была взята. Оказалось, что мы будем на месте не ранее вечера.

Усевшись на лапе якоря, боцман, окруженный избранными лицами баковой аристократии: баталером, подшкипером, фельдшером и двумя писарями — рассказывал про китайцев.

— Совсем подлый народ! — говорил боцман, указывая пальцем на встречавшиеся джонки. — Всякую нечисть, шельмы, трескают. И крысу, и собаку, и лягушку, и стрекозу... что ему ни дай, все жрет... Хлебушка-то у них нету... рис один, они и рады всякому дерьму.

И вороваты, канальи... Чуть не догляди — объегорит, даром, что длинноносый. Когда я первый раз ходил в дальнюю на «конверте» (корвете) и были мы в этих самых местах китайских, так раз ночью, братец ты мой, — мы в Шангае стояли — подъехала на шлюпчонке китайская морда — и что бы ты думал?.. Медную обшивку вздумал было, желторожий, отдирать... Уж жиганули же мы его, подлеца! — с веселым смехом рассказывал Щукин... — А пьют сулю какую-то вроде будто водки, из риса гонят... нальет себе, собачий сын, в чашечку с наперсток и куражится... Просто тошно на них, подлецов, глядеть... Одно слово идо- лы!

— Ишь, лупоглазый-то наш зубы скалит! — развязно заметил рыжий, в веснушках, франтоватый матрос из кантонистов, подходя к Аксенову и подмигивая плутоватыми бойкими глазами на боцмана.

— Он всегда веселый перед берегом.

— Чует, что скоро нахлещется как свинья... А я, братец, о чем хотел было попросить тебя, Ефимка! — заискивающим голоском продолжал рыжий.

— Ну?

— Дай ты мне в долг доллар, как ежели нас на берег отпустят... Совсем, брат, прогулялся...

Аксенов несколько времени молчал и наконец нерешительно отвечал:

— Ты бы у кого другого взял, Леонтьев... право... Хоцца рубаху купить.

— Глупый ты... Зачем тебе рубаху?.. И тут вовсе нет хороших рубах... Ты рубаху лучше в Японии купишь... Там, — так сказывают, — рубахи!.. Дай, пожалуйста... Через месяц отдам... право отдам!.. — упрашивал Леонтьев.

— И прежние отдашь?

— Все сразу отдам... будь в надежде! — продолжал Леонтьев, глядя жадным взором на потупившегося товарища.

После некоторого колебания Аксенов пообещал, и Леонтьев весело заметил:

— Вот спасибо... Вижу, что настоящий приятель... Ужо погуляем в Гонконте! С Якушкой пойдем... Он бывал здесь.

— Ишь ведь... тоже люди! — дивуется Аксенов, глядя на близко проходившую джонку, на палубе которой толпились китайцы. — Сколько, подумаешь, разного-то народа у гос-

пода! То малайцы были, а теперь китайцы пошли...

— Все один фасон — нехристь дикая! — с равнодушным пренебрежением кинул в ответ Леонтьев, считавший за признак хорошего матросского тона ничему не удивляться... — А ты, Ефимка, дурак! — несколько спустя проговорил он. — Чего вчера, как старший офицер спрашивал, ты не сказал про этого дьявола? По крайности, было б ему на орехи! Будь у меня на морде такая цаца, как у тебя, я беспременно бы сказал: «Так и так, мол, ваше благородие, безвинно через боцмана Щукина пострадал!» А то: «зашибся»!

— Чего жалиться! Ему и так будет! — промолвил Аксенов, стараясь придать себе важный вид.

— Уж не от тебя ли? — рассмеялся Леонтьев.

Аксенову очень хотелось посвятить приятеля в тайну вчерашнего разговора с Федосеичем, тем более что он и сам хорошо не понимал, на что именно намекал старый матрос. Он, однако, вспомнил наказ Федосеича не болтать, но, воздерживаясь от искушения,

все-таки загадочно прошептал:

— Небось люди проучат!..

— Люди! — передразнил Леонтьев. — Какие это люди? Кто может проучить этого подлеца, кроме начальства?.. Ах, какая ты еще необразованная деревня, Ефимка, как я посмотрю! — с сожалением заметил Леонтьев. — Ударь он меня безвинно, да если со знаком, я бы нарочно на глаза капитану попался... Я бы не так, как ты... небось!.. А то: «люди»!

Аксенов, считавший обращение и ухарские манеры Леонтьева за образец матросского совершенства и старавшийся подражать ему во всем, был задет за живое, что его считают «деревней», и с сердцем возразил:

— Что ж ты-то не жалуешься... Вечор он тебя по уху тоже огрел!..

— То-то... без знаку... я говорю, а ежели бы оказал знак... он бы помнил Леонтьева! — бахвалился матрос, видимо рисуясь и восхищая своими манерами простоватого товарища...

— Эй, послушай, Антонов! — обратился он к проходившему вестовому старшего офицера, — как у вас слышно, когда в Гонконте бу-

дем?

— К вечеру, не раньше! — отвечал на ходу вестовой, спешно направляясь на бак. — Старший офицер вас к себе требует, Матвей Нилыч! — проговорил Антонов, подходя к боцману. — В каюте они...

Щукин оборвал разговор и рысцой побежал вниз. Перед входом в кают-компанию он снял фуражку и вошел туда нахмуренный, осторожно ступая по клеенке. Не любил он, когда Василий Иванович требовал его к себе в каюту. «Верно, опять насчет вина шпынять будет!» — подумал, морщась, боцман, просовывая свою четырехугольную, коротко стриженную рыжую голову в каюту старшего офицера и затворяя за собой двери.

— Ты опять дерешься, Щукин, а? — строго проговорил Василий Иванович, хмуря брови.

Вылупив свои бычачьи глаза на старшего офицера, боцман угрюмо молчал, нервно пошевеливая усами.

— Смотри, Щукин, не выводите меня из терпения... Понял?

— Понял, ваше благородие! — сурово отвечал боцман и хотел было уходить.

— Постой!.. Который раз я тебе говорю, чтоб ты докладывал мне, если матрос провинится, а не расправлялся бы сам? Слышишь?

— Слушаю, ваше благородие! — еще суровее промолвил боцман. — Но только как вам будет угодно, а за каждую малость не годится беспокоить ваше благородие... Тогда матросы вовсе не будут почитать боцмана! — решительно заявил Щукин обиженным тоном.

— Ты и не беспокой по пустякам, — проговорил, смягчаясь, Василий Иваныч, чувствовавший слабость к старому боцману, — но только не очень-то давай своим рукам волю... Ты любишь это... знаю я. Ну за что ты прибил Аксенова? Полюбуйся, какой у него фонарь... Срам! Ты ведь боцман, а не разбойник! — прибавил Василий Иваныч, снова принимая строгий начальнический тон.

Щукин опять упорно молчал.

— Нагрубил он тебе, что ли?

— Никак нет, ваше благородие!

— Неисправен был?

— Матрос он исправный, ваше благородие!

— Так за что ж ты его прибил, скотина? — воскликнул, всплывши, Василий Иваныч.

— Матрос он еще глупый, ваше благородие!.. Не обучен как следует...

— Ну?..

— Для острастки, значит, ваше благородие, чтобы понимал! — проговорил Щукин самым серьезным, убежденным тоном.

— Для острастки подшиб глаз?

— Насчет глаза, осмелюсь доложить, по нечаянности, ваше благородие! — прибавил боцман как бы в оправдание, снова принимая угрюмое выражение.

— Слушай, Щукин! Последний раз тебе говорю, чтобы ты людей у меня не портил! — строгим голосом начал Василий Иваныч, подавляя невольную улыбку. — Ведь стыдно будет, как тебя разжалуют из боцманов?..

Щукин сердито молчал.

— Как ты полагаешь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— А дождешься ты того, что узнаешь, если не перестанешь разбойничать. Ступай! — резко оборвал старший офицер.

Боцман исчез из каюты. Когда он поднялся на палубу, никто и не подумал бы, что его только что «разнесли», — до того важен и су-

ров был вид у Щукина. Только лицо его побагровело сильнее да глаза еще более выкатились.

— Видишь, боцман идет! Посторониться, что ли, не можешь... сволочь! — крикнул Щукин, намеренно задевая плечом Аксенова и поводя на него презрительным взором.

Молодой матрос отскочил в сторону.

— Жаловаться, подлец! — прошептал, проходя далее, Щукин, сжимая кулак и ощущая сильное желание задушить Аксенова в отместку за поступок, недостойный, по мнению боцмана, порядочного матроса.

— Так выучат люди, Ефимка? — подсмеялся Леонтьев.

В эту минуту и сам Аксенов усомнился, чтобы нашлись люди, которые могли бы проучить грозного боцмана.

— Зачем это вас, Матвей Нилыч, старший офицер требовал? — любопытствовал баталер, когда боцман пришел на бак.

— Насчет работ, значит, говорили... — усиленно небрежным тоном отвечал боцман.

— Верно, что к вечеру в Гонконт придем?

— Должно, к вечеру...

— А долго простоим, Матвей Нилыч?

— Еще неизвестно... Об этом у нас разговору не было! — с важностью молвил Щукин и прибавил: — Однако сейчас и обедать... водку несите!

Колокол пробил шесть склянок (одиннадцать часов), и с мостика раздалась команда: «Пробу подать!»

Через минуту кок в белом колпаке и чистом переднике вынес маленький поднос с двумя деревянными чашками, ложкой и сухарем. Приняв поднос, Щукин, сопровождаемый коком, торжественно понес пробу. Кок остановился на шканцах, а боцман, поднявшись на мостик, где в это время, кроме вахтенного офицера, находились капитан и старший офицер, подал пробу вахтенному офицеру, официально приложив растопыренные пять пальцев к виску. С тою же официальностью вахтенный передал пробу старшему офицеру, который в свою очередь подал ее, прикладываясь свободной рукой к козырьку фуражки, капитану.

Взяв поднос, капитан отведал щей и пшенной каши, съел кусок сухаря и, похвалив щи,

передал пробу старшему офицеру. Василий Иванович тоже отведал и, передавая пробу вахтенному офицеру, сказал, что можно раздавать вино и обедать. Возвращая почти пустые чашки боцману, вахтенный приказал свистать к водке.

Два матроса с баталером сзади уже несли ендову с ромом, от которого распространялся на палубе острый, пахучий аромат, щекотавший обоняние. По обыкновению, шествие сопровождалось веселыми замечаниями и остротами. На шканцах шествие остановилось, и ендову бережно опустили на подотланный брезент. После того два боцмана и все восемь унтер-офицеров стали на шканцах в кружок, приставив дудки к губам, и, по знаку старшего боцмана Щукина, вдруг раздался долгий и пронзительный свист десяти дудок.

— Ишь, соловьи заливаются! — весело замечают матросы, окрестившие этот долгий веселый свист дудок, призывающий к водке, «пеньем соловьев».

«Соловьи» смолкли. Толпа собралась вокруг ендовы, и начался торжественный акт раздачи водки.

Баталер со списком в руке, отмечая крестиками пьющих и ставя палочки непьющим [2], выкрикивал громко фамилии, начиная по старшинству: сперва выкликались боцмана, затем унтер-офицеры, потом матросы первой статьи и т.д. В ответ раздавались на разные голоса короткие отрывистые: «яу!» или «яо!», и, выделившись из толпы, матрос подходил к ендове, принимая вдруг тот сосредоточенно-строгий вид, который бывает у людей, подходящих к причастию. Сняв шапку, а иногда и крестясь, он зачерпал мерной оловянной чаркой, по объему равняющейся порядочному стакану, ароматного «горлодера» и, стараясь не пролить ни одной капли, благоговейно подносил чарку к губам, выпивал, крякнув, передавал чарку следующему и поспешно уходил, закусывая припасенным сухарем. Если неосторожный проливал вино, из толпы раздавались насмешливые замечания:

— Винцо, брат, не пшеничка: прольешь — не подкдюнешь!

Водка роздана. На палубе стелются брезенты. Артельщики разносят баки с дымящимися щами и большие куски горячей солонины

в сетках. Небольшими артелями, человек по десяти, матросы рассаживаются вокруг бака, поджав под себя ноги. Перед тем как садиться, каждый крестится. Артельщик, выбранный каждою артелью, начинает резать солонину на мелкие куски, и все дожидаются, не дотрогиваясь до щей. Затем крошево валится в бак, в щи подливается уксус, и матросы принимаются за ложки.

У одного из баков, вблизи грот-мачты, между другими сидели Федосеич, Аксенов и Леонтьев. Старый матрос хлебал щи в молчании, с тою серьезностью, с какой обыкновенно едят простолюдины. Он ел истово, аккуратно, не спеша, заедая щи размоченным в воде ржаным сухарем, и бережно сбирал падавшие сухарные крошки. Аксенов весь отдался еде. Глаза его плотоядно блестели, и румяное здоровое лицо покрывалось крупными каплями пота. Он уписывал жирные щи за обе щеки, издавая по временам одобрительные восклицания. После скудного берегового пайка он вволю отъедался на обильном морском довольствии и находил, что «при таком харче умирать не надо».

Леонтьев снисходительно подсмеивался над восторгами «деревни». Щеголя своим «хорошим тоном», перенятым у кронштадтских писарей, он старался «кушать по-господски»: с некоторой небрежностью и будто нехотя, словно желая подчеркнуть, что он привык не к такой пище и восторгаться какими-нибудь щами считает неприличным. Во время еды он болтал, видимо раздражая своей болтовней старого матроса. Федосеич, недолюбливавший хлыщеватого Леонтьева, хмурился, бросая по временам на него сердитые взгляды, и, когда тот завел было скоромную речь насчет китайнок, Федосеич не выдержал.

— Нашел время язык чесать! — строго заметил он.

— За обедом завсегда можно разговаривать. Это даже вполне благородно...

— За хлебом, за солью пустяков не ври!.. Или вас, кантонищину, этому не учили?..

— Ишь, строгий какой! — тихо огрызнулся Леонтьев и, несколько сконфуженный, замолчал.

Примолкли и остальные. Несколько минут

только слышно было дружное сюсюканье людей, хлебавших щи.

— Нести, что ли, еще, ребята? — спросил артельщик, когда бак был выпростан и на дне осталась одна солонина.

Никто больше не хотел. Даже Аксенов не выразил желанья. Тогда стали есть крошево, стараясь не обгонять друг друга, чтобы всем досталось мяса поровну.

Когда мясо было выпростано, артельщик пошел за кашей и за маслом.

— И скусная же была солонина! — прибавил, облизываясь, Аксенов.

— Эка, нашел скусного!.. Надоела уж эта солонина! — заметил Леонтьев, щуря глаза. — Завтра, по крайности, хоть свежинка будет.

— Разборчивый ты какой господин у нас. Видно, сладко в кантонистах едал? — насмешливо промолвил Федосеич.

— Небось едал! — хвастливо проговорил Леонтьев.

— Скажи пожалуйста! — иронически вставил Федосеич.

— Я, может быть, самые отличные кушанья едал.

— В казарме, что ли?

— Зачем в казарме? Мы, слава богу, не в одной казарме свету видели! Была у меня, братцы, в Кронштадте одна знакомая, заместо повара у адмирала Лоботрясова жила... Может, слышали про адмирала Лоботрясова? Так придешь, бывало, в воскресенье к кухарчонке — она всего тебе предоставит: и соусу из телячьих мозгов, и жаркова — тетерьки с брусникой, и крем-брулея! Очень нежное это кушанье, братцы, крем-брулей! — продолжал Леонтьев, обводя всех торжествующим взором и, видимо, довольный, что слово произвело некоторый эффект.

— Тарелки, значит, вылизывал? — презрительно вставил Федосеич.

Среди матросов раздался смех.

— Это пусть вылизывает, кто настоящего обращения не знает, а мы, братец, и с тарелок умеем! — задорно возразил Леонтьев.

— Врать-то ты поперек себя толще! — проворчал, отворачиваясь, старый матрос.

— То-то... врать!.. Посмотрел бы, как люди врут, а мне врать нечего!

Принесли кашу, и все занялись едой. При-

кончив кашу, поднялись, помолились и стали прибираться. Когда все отобедали и палуба была подметена, раздался свисток и команда «отдыхать!». По случаю прохладной погоды матросы пошли отдыхать вниз.

Выбрав укромное местечко для себя и для своего любимца, Федосеич принялся доканчивать башмак, а молодой матрос растянулся подле.

— Тоже: «крем-брулей», лодырь эдакий! — произнес вдруг сердито Федосеич. — Небось просил он у тебя денег, Ефимка?

— Просил. Долларь просил.

— А ты не давай. Ему, брехуну, пыли пустить, а тебе деньги нужны. В деревне отец с матерью в нужде живут, им бы прикопил по малости, спасибо скажут... И не вяжись ты лучше с ним, Ефимка! Форцу-то его дурацкого не перенимай! Форцу-то на ём много, а совети нет... Он молоденьких вас облещивает, чтобы денег выманить... Совсем пустой человек! Слышишь, денег ему не давай! — прибавил внушительно Федосеич.

— Я было обнадежил его, Федосеич!

— Пусть прежде отдаст старых два доларя.

А то видит твою простоту и пристаёт! Так и скажи ему: Федосеич, мол, не велел! — заключил старый матрос и принялся за работу.

Аксенов стал подхрапывать. В это время мимо проходил боцман. Заметив сладко спящего матроса, из-за которого его «срамил» старший офицер, Щукин вскипел гневом и с сердцем пхнул ногой молодого матроса.

Аксенов проснулся и ошалелыми глазами смотрел на боцмана.

— Ты што на версту протянул лапы? Убери ноги-то! — грозно крикнул Щукин, прибавляя, по обыкновению, целый букет ругательств.

Матрос покорно подобрал ноги.

Федосеич пристально глядел на боцмана, держа в руке башмак, и, с укором покачивая головой, заметил:

— Нехорошо, Нилыч! За что зря пристаешь к человеку...

— А тебя спрашивали? — окрысился Щукин. — Ты кто такой выискался — советчик, а? Молчи лучше, а то как бы и тебе не попало! — проговорил Щукин и пошел далее.

— Гляди, не поперхнись, Нилыч! — кинул

ему вслед спокойно Федосеич.

Щукин сделал вид, что не слышал замечания старого матроса, и хмурый и недовольный побрел в свою каютку.

Федосеич поглядел ему вслед и минуту спустя прошептал, как бы в раздумье:

— Зазнался человек, что вошь в коросте. Впрямь проучить пора!

— Не проучить его! Напрасно только вчера я не пожалился на него. Вишь, как он пристаёт! — жалобно произнес Аксенов.

— Глупый! Небось и не таких учивали! Бог гордых не любит! — успокоительно промолвил Федосеич и, принимаясь снова за башмак, запел свою тихую деревенскую песенку, приятные, твердые звуки которой производили впечатление чего-то необыкновенно хорошего, простого и спокойного.

Через три дня первая вахта собиралась на берег.

Матросы выходили на палубу вымытые, подстриженные, подбритые, в чистых рубашках и новых, спущенных на затылки, шапках. На многих были собственные рубахи из тонкого полотна, шелковые косынки и лакированные пояса с тонким ремешком, на котором висел матросский нож, спрятанный в карман штанов. Все имели праздничный, оживленный вид.

Леонтьев только что вышел снизу, расфранченный, в щегольской рубашке, в обтянутых штанах, с атласным платком на шее, украшенным бронзовым якорьком. Шапка на нем была как-то особенно загнута набекрень, светло-рыжие волосы густо намаслены, усы подфабрены, и весь он сиял, небрежно щуря глаза и, видимо, щеголяя писарской развязностью своих манер. Он искал глазами Аксенова и, увидав молодого матроса, который в эту минуту, улыбаясь довольной улыбкой, любовался своими новыми, только что надетыми

башмаками, подошел к нему и хлопнул его по плечу.

— Так как же, Ефимка? Выходит: обнадежил товарища, а теперь, брат, на попятный, а? — проговорил он, отставляя ногу и покручивая усы, чтобы показать свой перстенок с фальшивым аметистом, купленный за шиллинг в Сингапуре.

Аксенов поднял глаза и оглядывал франта матроса, несколько подавленный его великолепием.

— Я ведь сказывал тебе: Федосеич не велит! — уклончиво отвечал молодой матрос, не без зависти любуясь блестящим на мизинце у Леонтьева кольцом.

— Не срамись, Ефимка, право, не срамись! Начальник он тебе, что ли, Федосеич? Разве ты малый ребенок, что не смеешь без Федосеича?.. У тебя, кажется, свой рассудок есть... Дай, голубчик, ведь ты обещал? — заискивающим тоненьким голоском упрашивал Леонтьев, в то время как плутоватые глаза его бежали по сторонам.

— Федосеич не велит! — с упорством повторил Аксенов.

— Вот зарядил: Федосеич да Федосеич! Ты и не сказывай ему, что дал, ежели уж ты так боишься своего Федосеича... Будь приятелем — дай.

— Не проси лучше...

— Так ты взаправду не дашь мне доллера, Ефимка? — спросил Леонтьев, неожиданно меняя тон.

— Сказано тебе: Федосеич не велит. У него и деньги.

— Так после этого ты хуже свиньи, Ефимка! Ужо погоди — вспомнишь!

— Ты чего грозишься-то? Ты прежде мои два доларя отдай.

— Два «доларя»? — передразнил Леонтьев. — Ах ты, деревня неотесанная! — продолжал он, презрительно оглядывая молодого матроса. — Подождешь ты свои два «доларя», ежели ты такую подлость сделал с человеком! Где у тебя расписка, а? — с наглой усмешкой прибавил Леонтьев и отошел прочь, окончательно смутивши молодого матроса.

— Первая вахта становись во фронт! — прокричал вахтенный унтер-офицер.

Матросы пошли строиться. После поверки скомандовали садиться на шлюпки, и через несколько минут баркас и катер, полные людьми, отвалили от борта клипера. По обыкновению разодетый в пух и прах, боцман Щукин сидел на баркасе на почетном месте, весело пуча глаза и деликатно придерживая двумя пальцами клетчатый носовой платок. На баркасе он сбросил свою суровость и не играл в начальника. Обращаясь к сидевшим рядом матросам, он дружелюбным товарищеским тоном рассказывал о достоинствах английского джина и, между прочим, приглашал Федосеича попробовать этого напитка вместе. Однако Федосеич отказался и во всю дорогу сосредоточенно молчал.

VI

К вечеру баркас и катер шли к клиперу, возвращаясь с берега. Приближаясь к судну, шумные разговоры и смех стихли. Шлюпки пристали, и началась высадка. Слегка пошатываясь, выходили подгулявшие матросы на палубу и поскорей пробирались на бак, где шумно делились впечатлениями с оставшимися на клипере. Нескольких пришлось подымать на веревке и в бесчувственном состоянии уносить на палубу и окачивать водой. Наконец поднялся по трапу и Щукин, поддерживаемый сзади двумя более трезвыми ассистентами, и при свете фонарей предстал в самом жалком и истерзанном виде. Лицо старого боцмана было в кровавых подтеках, один глаз вздут, рубаха изорвана, и от шелковой косынки висели одни клочки.

Хотя боцман был очень пьян, однако при входе на шканцы он приложил руку к виску, отдавая честь, и пролепетал: «Честь имею явиться!» Затем его отвели в каюту и уложили.

Гардемарин, ездивший на берег с коман-

дой, доложил старшему офицеру, что боцманна, сильно избитого, привели на пристань Федосеев и еще два матроса и объяснили, что нашли его в таком виде, случайно зайдя в кабак. Василий Иванович попросил доктора осмотреть Щукина. Скоро Карл Карлович вернулся и объяснил, что, хотя боцман и «поврежден», но переломов нигде нет, и через день-другой он отлежится.

Тогда Василий Иванович велел позвать Федосеева.

Старый матрос явился в кают-компанию несколько раскрасневшийся от выпитого вина, но держался на ногах твердо. Он подтвердил старшему офицеру то же, что сказал и гардемарину.

— Кто же мог избить боцмана? — спросил Василий Иванович.

— Должно, боцмана помяли англичане, ваше благородие! — тихим и спокойным голосом отвечал Федосеев.

— Какие англичане?

— С купеческих судов англичане, ваше благородие. Их тут есть...

— Почему ты думаешь, что англичане?

— Мы видели, ваше благородие, что Нилыч с ними раньше связался пить шнапсы... Верно, опосля и разодрались...

Василий Иванович покачал головой и отпустил Федосеича.

На следующее утро Василий Иванович сам заглянул в каюту боцмана. Щукин лежал пластом. Все лицо его было обложено компрессами.

При виде старшего офицера старый боцман вскочил.

— Лежи, лежи, Щукин. Где это, братец, тебя так изукрасили?

— Не припомню, ваше благородие! — хмуро отвечал боцман.

— Федосеев сказывал, что ты с англичанами дрался?

Боцман на секунду вытаращил удивленно глаза, но вслед за тем с живостью проговорил:

— Дрался, ваше благородие!.. Виноват...

Василий Иванович сразу догадался, что на англичан взвели напраслину, но дальнейших расспросов не продолжал и ушел, пожелав боцману скорей поправиться и впредь с ан-

гличанами не драться.

Щукин отлеживался целый день. Был уже вечер, когда в каюту к нему вдруг шмыгнул Леонтьев.

— Кто здесь?

— Леонтьев, Матвей Нилыч!

— Тебе что? — сердито спросил боцман.

— Я, Матвей Нилыч, пришел доложить вам по секрету, потому как я завсегда уважал вас и, кроме хорошего, ничего от вас не видал... Я знаю, кто это с вами так подло, можно сказать, поступил. Я, если угодно, свидетелем под присягу пойду... Это Федосеев всему зачинщик... Я сам слышал, Матвей Нилыч, как он...

— Подойди-ка сюда поближе! — перебил его Щукин.

И когда матрос приблизился, боцман вдруг поднялся с койки и со всего размаха закатил здоровую затрещину Леонтьеву, никак не ожидавшему такого сюрприза.

— Вот тебе, подлецу, по секрету! Ах ты, мерзавец эдакий!.. С чем подъехал!

И грозный боцман, охваченный негодованием, снова поднял свой здоровенный кулак,

но Леонтьев благоразумно поспешил исчезнуть.

— Ишь ведь, подлый! — прошептал боцман, опускаясь на койку.

После происшествия в Гонконге Щукин, по словам матросов, стал гораздо «легче на руку». Он дрался редко, и если дрался, то с «рассудком». Ругался же он по-прежнему артистически и нередко восхищал самих обруганных матросов неожиданностью и разнообразием своих импровизаций.

С Федосеичем он был в хороших отношениях, и они нередко вместе пьянствовали потом на берегу. Зато Леонтьеву доставалось-таки от боцмана. Слух о поступке франта матроса сделался известным, и вся команда относилась к нему недружелюбно.

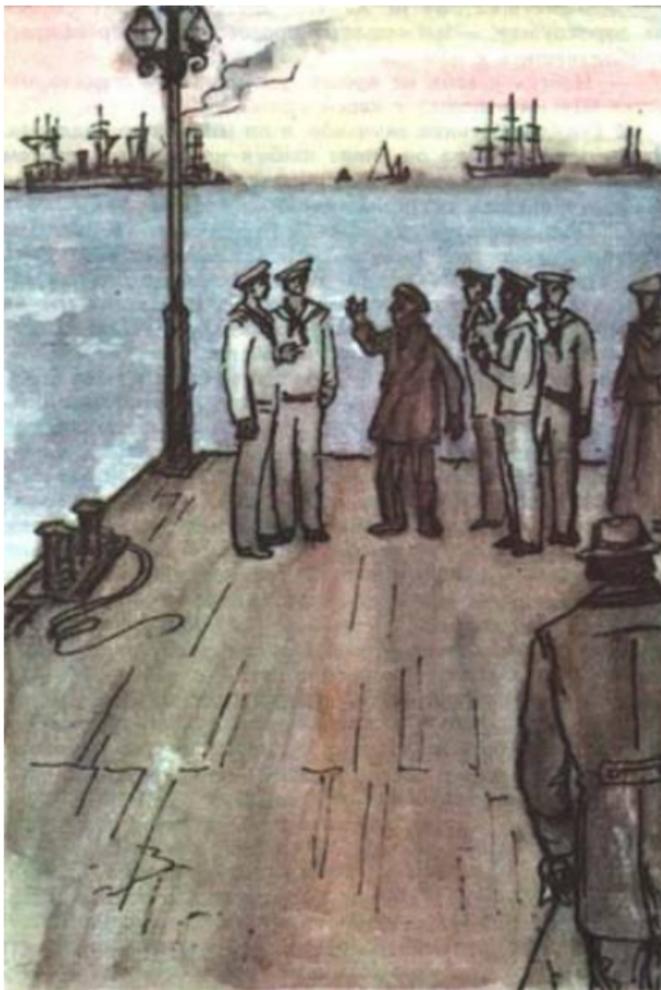
VII

Несколько лет тому назад я жил летом в Кронштадтской колонии, близ Ораниенбаума.

Гуляя как-то вечером, я зашел на Ключинскую пристань полюбоваться недурным видом на море. Там дожидался щегольской катер с военного судна, а на пристани стояла группа матросов в белых рубахах, среди которой выделялась чья-то низенькая коренастая фигура в измызганном, оборванном куцем пальтишке.

— ...А ты думал как?.. Меньше как по двести линьков у него, братец ты мой, не полагалось порции... В иной день, бывало, половину команды отполирует... Одно слово — орел!..

Этот сиплый, надтреснутый, старческий басок показался мне знакомым, сразу напомнив давно прошедшие времена. Я подошел поближе и в оборванном старике узнал бывшего нашего лихого боцмана Щукина. Он сильно постарел. Испитое бурое его лицо было изрезано морщинами и заросло седой ключей бородой. Потускневшие глаза еще бо-



лее выкатились. Платье на нем было самое жалкое, сапоги дырявые, и старая матросская шапка, надетая по старой привычке на затылок, была какого-то вылинявшего вида.

— Или взять теперь боцманов... Рази те-

перь боцмана?! Шушера какая-то, а не боцманна! — продолжал, оживляясь, Щукин. — Один срам... Чуть что — сичас фискалить на матроса, если матрос не даст ему рупь-целковый... Тьфу! Или теперя матрос... Какой он матрос?... Ему только и мысли, как бы под суд не попасть... Напился — под суд! Портянки паршивые пропил — под суд! Сгрубил ежели — под суд! Это небось порядки?..

Щеголеватый молодой унтер-офицер, слушавший ламентации Щукина с снисходительной улыбкой, с важностью заметил:

— Нонче другие права... При вас закону не было, а теперь на все закон...

— Закон?! — презрительно выпячивая губу, повторил Щукин. — А что фитьфебеля у вас нонче от матросов деньги берут да при часах ходят — это закон?! Выйдет это он: фу-ты на! Павлин, да и только... «Вы да вы», а от матроса рыло воротит — в господу лезет... Форцу-то много, а если прямо сказать, так одно слово шильники!.. Нет, братец ты мой, ежели ты боцман, ты учи матроса, бей его с рассудком, но только и совесть знай... А то из-за портянок ежели человека несчастным сде-

дать — это закон?! Или ежели за всякую малость на матроса жаловаться, — это, по-твоему, закон?!. Нет, брат, это не закон... Это — тьфу!.. — энергично окончил старик, сплюнув и выходя из кружка.

— Здравствуйте, Щукин! — проговорил я, подойдя к старику.

Щукин оглядывал меня, видимо не узнавая. Я назвал себя.

— Вот где довелось встретиться, ваше благородие! — радостно приветствовал меня Щукин. — Вы, значит, вышли из флота?

— Вышел.

— Да и какой теперь флот, ваше благородие! Вы вот спросите: умеет ли он брамсель крепить... так он и брамселя-то не видал, а тоже матросом называется... Ишь ведь, твердые они нонче какие! — насмешливо прибавил старик, кивая на матросов. — А унтер-то у них?.. При цепочке... деликатного обращения... все больше чай с алимоном... Другой народ пошел, ваше благородие!..

— А вы чем занимаетесь?

— А сторожем здесь, при кладбище, да вот пристань караулю, чтоб не сбежала... Спаси-

бо, исхлопотал мне это Василий Иванович... Он не забывает старого боцмана... заместо отца родного... Вот вышел окуньков половить... С десяток уж наловил, ваше благородие...

— Выпить-то ему не на что, вот он и ловит окуней на сорокоушку! — насмешливо проговорил унтер-офицер, приблизившись к нам.

— Небось у тебя не прошу, у сволочи! — сердито отвечал Щукин и пошел к своей удочке.

Я купил у Щукина окуньков, и он мгновенно удалился. Через четверть часа он снова явился на пристань совсем охмелевший, и скоро в вечерней темноте снова раздавался его пьяный, осипший голос:

— Одно слово — лев был... Рука — во!.. У нас на «Фершанте» в три минуты марселя меняли... А ты?.. Какой ты унтерцер? Тебе бы только компот в штанах варить, а не то что как прежде бывало... Или когда мы на клипере взаграницу ходили... Небось служба была... Василий Иваныч понимал, какой я был боцман... У меня — шалишь, брат...

Примечания

Так называли матросы корабль «Ла Фершампенуаз». (Примеч. автора.)

[^^^]

Непьющим по окончании каждого месяца выдаются на руки деньги, равные стоимости вина. Обыкновенно приходилось около пяти копеек за каждую чарку. Эти деньги матросы называют «заслужой». (Примеч. автора.)

[^^^]